

# Виктория Токарева

Сказать – не сказать...



Издательство «Азбука»

# Виктория Самойловна Токарева

## Сказать – не сказать... (сборник)

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=10777760](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10777760)*

*Сказать – не сказать... : Рассказы и повести: Азбука, Азбука-Аттикус; Санкт-Петербург; 2015  
ISBN 978-5-389-10251-4*

### Аннотация

«Есть понятие: поговорить по душам. Человек выворачивает душу, как карман, выкидывает что лишнее, наводит порядок. И можно жить дальше. Если не общаться – сойдешь с ума. Жизнь – это общение. А общение – это искренность».

*В. Токарева*

# Содержание

Рассказы	5
Сказать – не сказать...	5
Все нормально, все хорошо	47
Конец ознакомительного фрагмента.	70

# **Виктория Токарева**

## **Сказать –**

### **не сказать... (сборник)**

© Токарева В. С., 1991

© Оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2015

Издательство АЗБУКА®

\* \* \*

# Рассказы

## Сказать – не сказать...

Артамонова поступила в училище легко, с первого раза. На вступительном экзамене играла Чайковского, Шопена и что-то для техники, сейчас уже забыла что. Кажется, прелюд Скрябина.

Киреев поступал вместе с ней, но провалился. Получил тройку по сочинению, недобрал один балл. У него случились две орфографические ошибки и пять лишних запятых. Киреев обладал абсолютным музыкальным слухом, но пять запятых оказались важнее.

В последний день вывесили списки принятых. Киреева не было в списке, значит – откинут, отбракован, как нестандартный помидор. Он стоял чуть в стороне и смотрел перед собой куда-то вдаль. Артамонова хотела подойти к нему и сказать, что он самый способный из всех. Но постеснялась. Он мог принять сочувствие за унижительную жалость и обидеться.

Когда сдавали, приходили на экзамены – держались общим табунком, болели друг за друга. А сейчас разделились на две несмешивающиеся части: везунки и неудачники. Принятые смотрели на непринятых, как живые на покойников:

немножко с ужасом, немножко с любопытством и с неосознанной радостью – вы ТАМ, а мы ТУТ.

Пятнадцать везунков во главе с энергичной Лындиной отправились праздновать победу в ближайшее кафе. Артамонова пошла вместе со всеми, сдала свои пять рублей, но душой не присоединилась. Она чувствовала свою вину перед Киреевым, как будто заняла его место. Там же, в кафе, решила позвонить Кирееву, но всезнающая Лындина сказала, что у него нет телефона. Киреев жил на территории монастыря в бывшей трапезной. Это двухэтажное строение считалось среднеисторической постройкой, находилось под охраной государства, поддерживалось в первозданном виде. Телефона в нем не полагалось, поскольку среднеисторические монахи не перезванивались с внешним миром, на то они и монахи.

Просто взять и поехать в трапезную без предупреждения Артамонова не решилась, хоть и была слегка пьяна и благородные чувства стояли у горла.

Осенью группа собралась для начала занятий. Киреев оказался в группе. Было очевидно: сунули по блату. Кто-то расстарался, спустили еще одно место – специально для Киреева.

Артамонова обрадовалась, а группа ханжески нахохлилась. Музыка – БОГ. Училище – ХРАМ. И вдруг – блат. Какие контрасты. Кирееву в глаза ничего не говорили, но как-

то безразлично сторонились, будто он негр, вошедший в вагон для белых. Киреев делал вид, что не замечает. Но Артамонова видела: замечает. И страдает. И почему эта курица Лындина – крючкотворка и интеллектуалка, как все бездари, – учится по праву, а Киреев – не по праву? Или, скажем, Усманову прислала республика, она прошла вне конкурса. Республике нужен национальный кадр. А если Киреев не кадр – он что, хуже? Почему по благу республики можно, а по индивидуальному благу – нельзя?

Артамонова принципиально села рядом с Киреевым в аудитории. Занимала ему очередь в буфете. Брала сосиски и коржики. А когда начались зачеты – предоставила Кирееву свои конспекты. Киреев сказал, что не понимает ее почерка. Артамонова согласилась читать ему вслух.

Сидели у Артамоновой на кухне, грызли черные соленые сухарики. Мама Артамоновой пережила ребенком блокаду и никогда не выбрасывала хлеб. Резала его соломкой и сушила в духовке. Эти сухарики были неотвязными, как семечки.

В середине дня жарили картошку. Киреев сам вызвался чистить и делал это так, будто всю жизнь только этим и занимался. Ровный, равномерный серпантин кожуры не прерывался. Картошка из-под его рук выходила гладкой, как яйцо. Артамонова заподозрила: когда человек одарен, он одарен во всем. Картошку жарили с луком, болгарским зеленым перцем и колбасой. Сверху заливали яйцом. Киреев называл это «крестьянский завтрак». Такое сочетание продуктов

и слов казалось Артамоновой талантливый, почти гениальный.

На кухонной полке стоял керамический козел: туловище из глиняных бежевых витков, как бы шерсть, а рога – темно-коричневые, блестящие, будто облитые лаком.

Киреев ел крестьянский завтрак, глядя перед собой отсутствующим взором. Свет окна падал на его лицо. Артамонова вдруг с удивлением заметила, что его темно-коричневые глаза не вбирают в себя свет, а отсвечивают, как керамика.

– Ой! – сказала Артамонова. – У тебя глаза – как у козла рога.

Киреев ничего не ответил. А что тут скажешь... Он даже не понял: хорошо это или плохо, когда как у козла рога. Потом Киреев курил и слушал конспекты по научному коммунизму и не понимал, чем конкуренция отличается от соцсоревнования и почему конкуренция плохо, а соцсоревнование хорошо. Похоже, этого не понимал и автор научного коммунизма.

Однообразный голос Артамоновой убаюкивал, и, чтобы страхнуть с себя сонную одурь, Киреев садился играть. Его любимые композиторы были: Шостакович, Прокофьев; Чайковский для Киреева был слишком наивен. Артамонова признавала именно Чайковского, а звучание Прокофьева для нее – как железом по стеклу. Но она стеснялась возражать, самоотверженно слушала.

У Киреева были сильные пальцы. Артамонова сидела



как под обстрелом. Под такую музыку хорошо сходиться с ума. Но постепенно эта несообразность во что-то выстраивалась. Вырастала. Во что? Наверное, в двадцатый век.

От хорошей музыки в человеке поднимается человеческое. Жизнь задавливает человеческое, а музыка достает.

Артамонова могла так сидеть и слушать. И покрываться пылью времени. Но приходила из больницы мама. Она работала медсестрой в реанимации, каждый день вытаскивала кого-нибудь с того света. И очень уставала, потому что тот свет засасывает, как вакуум. И надо очень напрягаться, чтобы не пустить туда.

Киреев собирался домой. Артамонова его провожала. Он застегивал пуговицы, но мысленно был уже где-то в другом месте. Он умел вот так, уходить – не уходя.

После его ухода Артамонова ставила пластинку под иглу, бросалась на кровать и смотрела в потолок. Наивная музыка ее обнимала, кружила, обещала. Она плыла, плыла... Улыбалась, не улыбалась – летела куда-то лицом, худеньким телом, жидкими волосиками, собранными в пучок, как у балерины, большими глазами под большими очками.

Как хорош был Чайковский. Как хороши стены родного дома. Как хороша жизнь!

Артамонова влюбилась.

Сейчас уже трудно было определить точность момента, когда это произошло: когда Киреев не поступил и стоял в стороне, отбракованный... или осенью, когда впервые по-

явился в группе... либо на кухне, когда увидела его мрачные глаза... А в общем, какое это имеет значение. Важно то, что пришла любовь.

Сначала шел инкубационный период, она не знала, что влюбилась, просто появилась потребность о нем думать и вслух проговаривать свои думы.

При этом Артамонова знала и все знали, что Киреев женат на какой-то Руфине. Он женился, когда ему было двадцать, а Руфине тридцать. Она была немыслимой красоты, Киреев сошел с ума и отбил ее у большого человека – генерала или министра. И Руфина ушла из пятикомнатной квартиры в трапезную. Ушла на чистую любовь. Первый год они не вылезали из постели и было все равно, где эта постель – в подвале или во дворце. Потом началась жизнь и Руфина увидела разницу: где стоит постель и обеденный стол и что на столе.

Киреев подрабатывал на танцплощадках и на свадьбах. Со свадеб приносил Руфине вкусенького, денежки в конверте и чувство вины, которое не проходило. Роли распределились четко: Руфина – недовольна, Киреев – виноват. Может быть, именно в свою вину проваливался Киреев, когда стоял с отсутствующим лицом, глядя в никуда.

Артамонова все знала, но это знание не меняло дела. Все равно: каждый вдох – Киреев, и каждый выдох – Киреев. И болит под ложечкой, потому что там, в этой точке, – душа.

Артамонова не могла ни думать, ни говорить ни о чем

другом и в конце концов стала неинтересным собеседником. Невозможно общаться с человеком одной темы. Это общение похоже на заевшую на пластинке иглу.

Усманова, ставшая близкой подругой, угорала от Киреева, от того, как он молчит, как курит, как чистит картошку, какая у него неглаженная рубашка, из чего следует: какая Руфина шкура и какой Киреев несчастный.

Однажды подруги прошли пешком по Бульварному кольцу до улицы Горького, остановились возле подземного перехода. Апрельское солнце пекло прямо в лицо. Но это не солнце – это Киреев.

Усманова добросовестно внимала подруге, потом заметила:

– Ты слишком много говоришь о себе. Чем меньше о тебе знают, тем лучше для тебя.

– Почему? – искренне удивилась Артамонова.

Есть понятие: поговорить по душам. Человек выворачивает душу, как карман, выкидывает что лишнее, наводит порядок. И можно жить дальше. У них в доме, в соседнем подъезде, проживал дипломат. Он всю жизнь был набит тайнами и секретами от макушки до белого воротничка. И под старость лет сошел с ума, заперся на даче, ни с кем не разговаривал. Боялся выболтать секрет.

Если не общаться – сойдешь с ума. Жизнь – это общение. А общение – это искренность.

Усманова, тайно верующая в Аллаха, считала иначе.

Жизнь – это своего рода игра. Как в карты. Игрок держит свои карты у лица, чтобы не подглядывали. Иначе проиграешь. А Артамонова – весь свой расклад на стол.

– Видишь? – Усманова подняла со лба челку.

Артамонова ничего не увидела. Лоб Усмановой был девически чист, и вообще она походила на прехорошенькую японку с календарей.

– Ничего не вижу, – сказала Артамонова.

– Рога.

Артамонова пригляделась. Форма лба была выпуклой по бокам.

– Пока не скажу – не заметишь. А скажу – сразу видно.

Усманова сбросила челку на лоб. Артамонова внутренне согласилась. Усманова стояла прежней прехорошенькой японкой, трогательной, как сувенирная кукла. Но рога на лбу вошли в сознание. Кукла, но с рогами.

– Поняла? – уточнила Усманова.

– Про рога?

– Про Киреева. Если не можешь терпеть – скажи ему одному. И успокойся.

Сказать – не сказать... Артамонова размышляла весь апрель и май.

СКАЗАТЬ. А если ему это не понадобится? Он отшутится, типа: «Напрасны ваши совершенства: их вовсе недостойн я». И еще добавит: «Учитесь властвовать собою; не вся-

кий вас, как я, поймет».

Артамонова боялась унижения. Когда-то в детстве у нее недолгое время был отчим. Он не бил ее, но замахивался. Она втягивала голову в плечи, мерцала ресницами, и вот этот ужас – ожидания удара – остался на всю жизнь. Боязнь унижения переросла в комплекс гордости.

Любовь выше комплекса. А если все же сказать? Он ответит: «Я люблю другую женщину». После этого уже нельзя будет, как раньше, занимать очередь в буфете, вместе есть серые институтские сосиски и пить мутный бежевый кофе. Вместе идти до библиотеки Ленина и ехать на эскалаторе, глядя на него снизу вверх, вбирая его лицо все вместе и каждую черточку в отдельности, и все линии и структуры, строящие его лицо.

**НЕ НАДО ГОВОРИТЬ.** Не надо раскрывать карты. А может быть, все же **СКАЗАТЬ...** Он согласится частично. Она станет его любовницей, он будет поглядывать на часы. Мужчина, который спешит. Его чувство вины перед Руфиной станет еще глубже. Эта двойственность не прибавит ему счастья.

Все, в конце концов, в жизни Киреева происходило для Руфины. После училища он хотел поступить в Гнесинский институт, оттуда завоевать мир – непонятно как, но понятно, что для нее. И Артамонова с ее обожанием в конечном счете существовала для Руфины. Обожание было заметно, это возвышало Киреева в собственных глазах, давало ему

веру в себя. А уверенный в себе человек может добиться несравненно большего.

Когда совершалась первая в мире социалистическая революция, никто не знал наверняка – как ее делать и что будет потом. Вождь пролетариата сказал: «Надо ввязаться, а там посмотрим».

Может быть, так и в любви. Не просчитывать заранее. Ввязаться, а там будет видно.

А что будет видно? Либо единомоментное мощное унижение. Либо краденое счастье, что тоже унижение, протянутое во времени – постепенно, по кусочкам.

Лучше НЕ ГОВОРИТЬ. Все оставить как есть. Точка. Артамонова загнала любовь в сундук своей души, заперла на ключ. А ключ отдала подруге Усмановой. Усманова умела хранить чужие тайны. Так и стоял под ложечкой сундук, загроможда душу и тело, корябая тяжелыми углами. Больше ничего в Артамонову не вмещалось. Она ходила и качалась от тяжести.

– Ты чего смурная? – заметил Киреев.

– Ничего, – ответила Артамонова. – Коленки болят. Ревматизм.

Летом они с мамой уехали на дачу. Маму позвала к себе подруга, одинокая медсестра Люся. Люсиного сына забрали в армию. Люся тосковала, дача пустовала. Сдавать чужим людям она не хотела, сердце просило близких людей.

Дача оказалась деревянной развалюхой, но уютная внутри и соответствовала разваленному состоянию души. Артамонова чувствовала, что у стен дома и у стенок ее сердца – одно направление силовых линий, одинаковое биополе.

Рядом с развалюхой, через забор, стоял белокаменный дворец. Там жил генерал в отставке. Он разводил павлинов, зачем – непонятно. Павлины ведь не куры, варить их с лапшой вроде неудобно. Как-никак жар-птицы. Эти павлины жили в загончике и время от времени вскрикивали – с такой тоской, будто хотели донести до людей свою непереносимость. Крики взрезали воздух.

Артамонова страдала, и ей казалось: мир вокруг наполнен страданием. Простучит ли электричка – звук тревожен. Это дорога от счастья – в никуда. Засмеялась ли Люся... Это смех боли.

Однажды шла по лесу, ни о чем не думала. Просто дышала: вдох – Киреев, выдох – Киреев. Солнце пекло в голову, забыла панамку. И вдруг – что-то лопнуло в мозгу, излилась мелодия, похожая на крик павлинов, – одна музыкальная фраза в два такта.

Артамонова пошла домой. Но пока шла – забыла мелодию. Ночью она ей приснилась – четкая, законченная, как музыкальный вздох. Утром Артамонова записала ее в нотную тетрадь.

На даче была полка с книгами. Артамонова нашла сборник стихов, тоже развалюху – оторвана обложка, выпадали

листы.

Артамоновой попались такие строчки: «Не добычею, не наградой, была находкой простою. Оттого никогда не радую, потому ничего не стою». Вот Руфина – была и добычею, и наградой.

Неподалеку от дачи размещался профсоюзный санаторий. Артамонова ходила в санаторий и играла в актовом зале, когда там никого не было. Пианино было новое, клавиши безупречно-пластмассовые, как искусственные зубы. Звучание плоское. Но – не расстроено, и то хорошо. Артамонова тыркала в клавиши, соединяла музыку со стихом. Позже, когда «Павлиний крик» приняли на радио, а потом запели по стране, Артамонова догадалась: если бы Киреев ее любил, если бы была счастлива – не услышала бы павлинов. Ну кричат и кричат. Может, от радости. И мозги не лопались бы в мелодию. От разделенной любви рождаются дети. От неразделенной – песни.

В актовый зал заглядывали отдыхающие. Садились, слушали. Артамонова играла Чайковского. Играла подолгу, и никто не уходил.

Артамонова знала: у Петра Ильича были какие-то сложности на ниве личной жизни. Только не знающий любви человек мог создавать такие великие мелодии. Мечта о любви выше самой любви. И страдания – более плодотворная нива. Ничего великого не создавалось сытым человеком.

Весь август шел дождь, сеяла мга как сквозь сито. А сен-



тябрь установился солнечный, ласковый. В саду поспели яблоки.

Люся уговорила остаться еще на месяц. От крыльца развалюхи до крыльца училища – час пятнадцать. Ничего особенного. Даже хорошо. В электричке хорошо сочиняется. Жизнь стала наполненной звуками. Любовь к Кирееву озвучила ее жизнь, а он и не знал. Явился в училище – такой же, как был, только еще красивее и еще недоступнее. Принц Гамлет. Летом ездил в Сочи. Играл в ресторанах. Зарабатывал деньги. Ну что ж, красивая женщина дорого стоит.

Артамонова хотела похвастаться про песню, но не смогла найти удобного момента в разговоре. А просто так, без момента, ни с того ни с сего... С ним было не просто, не запросто. Почему не могла сказать про песню? А ему неинтересно. Все, что происходит с Артамоновой, – ему не надо. А раз не надо – зачем совать в лицо? Комплекс гордости сжимал ее душу в комок, пальцы – в кулак, до того, что болели косточки.

Однажды утром шла через переезд. Прогромыхала электричка. С рельсов поднялась собака и завывала как сирена. Вой всходил до неба. Артамонова остановилась. Что это? Если бы собака попала под поезд – погибла бы. Не выла. Значит, что? Поезд ее толкнул? Но поезд с его скоростью и массой и собака в двадцать килограмм... Сюда даже слово «толкнул» не подходит. Тогда что? Может быть, испугал? Контузил?

Артамонова приехала в училище и рассказала Кирееву про поезд и собаку. Киреев пристально посмотрел на Артамонову, подозревая ее в аллегориях: дескать, Артамонова – собака, а поезд – неразделенная любовь. Он насмешливо произнес: «О-о-о...» – и покрутил рукой, будто ввинчивал лампу.

Артамонову ошпарила догадка: знает. Издевается. Она сделала непроницаемое лицо и замолчала на весь день. Мысленно отобрала у Усмановой ключ от сундука любви и бросила его в мусорное ведро. Хотела пересесть от Киреева, но это было бы нарочито. Артамонова решила: внешне все останется по-старому, а внутренние перемещения, как учила Усманова, никого не касаются. Артамонова передвинула все козыри в одну сторону, бросовую карту – в другую. Бросовая карта – это Киреев. А козыри – музыка. Артамонова со злости написала песню. Песня получилась, как ни странно, жизнеутверждающая, типа: «Надоело говорить и спорить и любить усталые глаза...»

Наступила зима. Выпал снег. Стало теплее, не так ветрено. Снег как будто прижал ветер к земле.

Однажды вечером Артамонова сидела дома в одиночестве. Мама была на ночном дежурстве. Ее наняли за деньги к умирающей старушке. Артамонова листала сборник-развалюшку. Попались такие слова: «Не могу без тебя столько долгих дней...»

Стихи писала женщина. Талантливая. У нее были те же

дела, что и у Артамоновой. Значит, живет на свете неразделенная любовь.

Артамонова вдруг пала духом: не могу без тебя столько долгих дней. Раздался звонок в дверь.

Артамонова открыла и увидела Киреева. Он стоял неестественно серьезный, даже торжественный. Молчал. Артамонова ждала.

– У тебя есть фолкники? – наконец спросил Киреев.

– Нет, – удивилась Артамонова. – Откуда они у меня...

Фолкники соединили рок с фольклором. Артамонова была равнодушна к этому направлению.

– А «Детский альбом» у тебя есть?

– Есть, наверное. А зачем тебе?

– Я хочу разломать ритм. Сделать другую аранжировку. Современную.

– Зачем ломать ритм у Чайковского? Ломай у Прокофьева, – посоветовала Артамонова.

Киреев молчал неестественно долго, потом глубоко вздохнул, как бык в стойле.

– Сейчас?

Он кивнул, глубоко нырнув головой.

– Ну проходи.

Киреев прошел, остановился посреди прихожей. Артамонова стала соображать, где может находиться «Детский альбом» Чайковского. Она играла его во втором классе музыкальной школы, стало быть, двенадцать лет назад. Выкину-

ла? Не может быть. Ноты и книги не выкидывают. Значит, на антресолях.

Артамонова взяла табуретку и полезла на антресоли. Она барахтала поднятыми руками, пыталась выгresti нужное из бумажных волн. Ее тело вытянуто, напряжено. Колени находились на уровне глаз пьяного Киреева. Он вдруг молча обхватил колени, снял Артамонову со стула и понес в спальную комнату. Артамонова так растерялась, что у нее замкнуло речь. Не могла сказать ни слова. Он понес ее как ребенка. Артамонова плыла в его руках. В голове сшибалось противоречивое: «да?» или «нет?».

ДА. Ведь она любит его. Безумно. И давно. И вот случай...

Но он молчал. И вообще, пьяный. Соображает ли, что делает? А она будет терять невинность – так неинтересно. НЕТ.

А с другой стороны, надо же когда-то расставаться с этой невинностью. Все подружки распрощались в школе. А она до сих пор... стыдно сказать... Но почему он молчит?..

Пока Артамонова металась мыслями, он положил ее на кровать, и дальше было то, что было. И совсем не так, как мечталось. Больше всего запомнилось два шуршащих звука от пластмассовой молнии на брюках: один раз сверху вниз, когда расстегивал. Другой раз – снизу вверх, когда застегивал. Разница между этими шорохами – минут десять, а может, пять. Киреев поднялся. Одернул куртку – он не снял ее у вешалки – и ушел с тем же молчаливым достоинством, что и появился. А она провожала его с тем же недоумением,

что и встретила.

На другой день Артамонова взяла ему, как прежде, сосиску и кофе. Киреев ел, глядя в пространство. Проваливался в свое, отсутствовал по привычке.

«Не помнит, – поняла Артамонова. – Может, спросить? А как спросить?»

«Ты помнишь?» Он скажет: «Что?» И тогда – как ему объяснить, что было между ними? Какие для этого бывают слова? Может быть, так: «Ты помнишь, как ты меня любил?» Он скажет: «А я не любил».

Артамонова не стала ничего спрашивать.

Началась практика в музыкальной школе. Она вела музыкальную литературу. Играла детям «Детский альбом», благо ноты были найдены. Киреев их тогда забыл.

Иногда играла свои песни. Дети думали, что это тоже Чайковский.

Через две недели Артамонова заметила странное: не может чистить зубы. От зубной щетки начинает выворачивать и холодный обруч стягивает лоб.

Районный врач спросила, будет ли она рожать.

– Не знаю, – потерянно сказала Артамонова.

– Думайте, но недолго, – посоветовала врач. – Самое лучшее время для прерывания – восемь-девять недель.

У Артамоновой было две недели на раздумье.

СКАЗАТЬ – НЕ СКАЗАТЬ...

Киреев может не вспомнить, ведь он был пьяный. И тогда он решит, что она врет, шантажирует, или как там это называется...

Предположим, помнит. Поверит. Но что с того? Менять свою жизнь он не намерен, значит, ребенок ему не нужен. А она, если хочет, пусть родит себе сына, как Дева Мария от непорочного зачатия. В конце концов – это ее дело. Ее живот. Но как будет расти этот бедный мальчик, – Артамонова почему-то была уверена: мальчик. Маленький Киреев. У всех есть папы. А у него нет. Только мама и бабушка. Бедная сорокадвухлетняя бабушка с нежным именем Оля. Муж бросил Олю беременной, на пятом месяце. Не выдержал бытовых и материальных трудностей. Захотел удобств и красоты. Будущей дочке и жене он оставил только фамилию.

Артамонова родилась раньше времени, неполных семи месяцев. Еле выходили. Потом к ней стали липнуть все болезни. Еле отбили. Наконец выросла, поступила в училище, скоро начнет сама зарабатывать, помогать маме. Вот тут бы Оле расслабиться, отдохнуть от уколов и ночных дежурств, может, даже выйти замуж, пожить для себя. Так нет – опять все сначала. Маленький Киреев не получит даже фамилии. Он будет Артамонов. Оля не откажется от внука, да еще безотцовщины. Будет любить еще острее, и страдать за дочь, и стесняться перед соседями. Сейчас, конечно, другое время. Никто заборы дегтем не мажет, но... Что за семейная

традиция: маму бросили в законном браке, дочку бросили, не успев приобрести... Зачем Оле такие разьедающие страдания? Она вообще ничего не должна знать.

Усманова выслушала новость, и ее узкие глаза стали круглыми.

– Ты что, с ума сошла? – серьезно поинтересовалась она. – Своему ребенку – ноги отрывать?

– Он еще не ребенок. Он эмбрион.

– Ты что, в Бога не веришь?

– А что делать? – не понимала Артамонова.

– Поговори с ним. Ты же не за себя просишь. А хочешь, я поговорю?

– Ни в коем случае! Я сама...

Был день стипендии. Артамонова пришла в училище. Возле кассы она напоролась на Киреева. Именно напоролась, как ногой на гвоздь. Киреев стоял и считал деньги.

«Сейчас скажу... спрошу... скажу...» – решила Артамонова, и в ней даже хрустнуло что-то от решимости. Но Киреев раскладывал деньги по кучкам, и она промолчала. И опять что-то хрустнуло от сломанного желания.

Киреев окончил расфасовку своих денег. Часть положил в карман, другую часть в бумажник. Поднял голову. В лице Артамоновой его что-то поразило. Он спросил:

– Что?

– Ничего, – сказала она.

– Хочешь, в кафе сходим? Я угощаю.

При мысли о еде тут же подкатила к горлу тошнота.

– Не хочу, – сказала Артамонова. И добавила: – Спасибо...

Операционная располагалась в большом, или, как говорили раньше, в большой, зале. Там стояло два стола, работали два хирурга, мужчина и женщина.

Перед тем как войти, Артамонова обернулась на дверь, ведущую в отделение. Она ждала: вбежит Киреев в пальто и шапке, молча, без слов схватит ее за руку, скажет одно слово: «Успел». И выдернет ее отсюда, и она заскользит за ним в тапках по гладкому кафелю, как по катку.

Киреев не знал, что с ней и где она, и поэтому не мог здесь появиться. Но вдруг Усманова не послушалась и провела с ним беседу и назвала адрес больницы?..

Из зала вывели каталку с бескровным телом, мотающейся головой. Следующая очередь была ее. Она в последний раз оглянулась на дверь. Сейчас вбежит: запыхавшийся, испуганный, встревоженный. Скажет: «Ну разве можно так обращаться со своей жизнью?»

Артамонова вошла в операционную.

Левый крайний стол был ее. Хирург стоял, закатав рукава.

На нем был клеенчатый фартук, забрызганный кровью. На соседнем столе, как в гестапо, кричала женщина.

Артамонова подошла к хирургу. У него было доброе кре-



стьянское лицо. Артамонова доверилась лицу и спросила:

– Может, не надо?

Он посмотрел на нее с удивлением и сказал:

– Но вы же сюда сами пришли. Вас же не привели.

«В самом деле, – подумала Артамонова. – Раз уж пришла».

Она взобралась на стол. Ей стали привязывать ноги. Тогда еще не было внутривенного наркоза, когда женщина отключается от действительности. Тогда все происходило при здоровом уме и трезвой памяти.

Тонкая игла боли вошла в мозг. Потом стала нарастать, как шквал, по ногам потекла кровь, и слышались звуки, похожие на клацанье ножниц. Артамонова поняла: из нее безвозвратно выстригают маленького Киреева – беспомощного и бесправного. Клацали ножницы, летели руки, ноги, голова... Артамонова закричала так страшно, что этот крик, казалось, сметет и столы, и хирургов.

К вечеру за ней пришла Усманова. От мамы все держалось в тайне. Надо было вечером вернуться домой, как бы из консерватории. С концерта пианиста Малинина.

Они шли по вечерней улице. Был гололед. И казалось, что земной шар ненадежно прикреплен к земной оси.

Артамонова вошла в дом и сразу легла в кровать. Мама ни о чем не подозревала, готовила еду на завтрашний день. Мыла посуду и пела.

Артамонова лежала в постели, подложив под себя поло-

тенце. Плакала. Из глаз текли слезы, а из тела кровь. Кровь и слезы были одной температуры: тридцать шесть и шесть. И ей казалось, что из глаз течет кровь, а оттуда слезы. И это в каком-то смысле была правда.

Две недели Артамонова не ходила в училище. Не хотела. И не отвечала на телефонные звонки. На душу спустилось то ли возмездие, то ли равнодушие. Казалось: объявят по радио атомную войну – Артамонова не встанет с места.

Целыми днями сидела за роялем, тыркала в клавиши. Получилась детская песенка, как ни странно – оптимистическая. Артамонова выживала, поэтому музыка была жизнеутверждающая. Грустное пишут относительно счастливые люди. У них есть силы на грусть.

Первого апреля у Артамоновой – день рождения. Двадцать лет. Круглая дата. Пришел курс. И Киреев пришел и подарил глиняную статуэтку верблюда. Сказал, что искал козла, но не нашел.

Артамонова удивилась: помнит. Ей казалось: всего, что связано с ней, не существует в его сознании.

Верблюд смешной, как будто сделанный ребенком. На его глиняном бежевом боку Киреев написал толстым фломастером: АРТАМОШКЕ. Надпись была сделана не сплошной линией, а точечной. Одна точка под другой. Артамонова поставила верблюда возле козла.

В тот день группа гуляла на всю катушку. Подвыпивший

Гена Кокорев принялся ухаживать за мамой. Маме было смешно, но приятно: раз ухаживают дети, значит, есть перспектива на ровесников.

В тот день было много водки, много еды, много молодости и музыки. Киреев плясал вместе со всеми, топоча ногами. Артамоновой казалось: он что-то втоптывает в землю. Она смотрела на него пустым взглядом. После того как пропал ребенок – результат ее любви, – сама любовь как бы потеряла смысл.

Кончилось тем, что все пели на много голосов. Музыканты – люди меченые, не могут без музыки. Они – как земноводные: могут и на суше. Но в воде лучше.

Разошлись за полночь. Смех, музыка, ощущение беспричинного счастья – повисли на стенах. Этим можно было дышать.

И остался глиняный верблюд рядом с козлом. Козел большой. Верблюд маленький. Они стояли рядом десять лет. До следующей круглой даты.

Следующая круглая дата – тридцать. Главные, определяющие события в жизни происходят именно в этом промежутке: от двадцати до тридцати. Потом начинаются повторения.

Артамонова окончила музыкальное училище. Поступила в Институт имени Гнесиных на дирижерско-хоровое отделение. После института стала вести хор во Дворце пионеров. В трудовой книжке значилось: хормейстер. Красивое слово.

Дословно: мастер хора.

Артамонова любила детей плюс музыку и сумму этих слагаемых – поющих детей. Бежала на работу как на праздник. И дети обожали эту свою послешкольную жизнь. В хоре не было текучки.

Репертуар – классический и современный. И несколько песен – авторские. Главное – чистое звучание. Тренировала вторые голоса так, что терции резали воздух. В результате труда и терпения хор вышел на первое место в городе. Его записали на радио. Радио слушают все. Песню услышали. Ее включил в репертуар популярный певец, выдержанный внешне и внутренне в духе соцреализма. Артамонова называла его «поющая табуретка». От «табуретки» песня перешла к молодой ломаной певице. Она так надрывалась: «...не добычею, не наградой...» – будто песня была лично про нее.

Артамонова первый раз услышала «Павлиний крик» на пляже в Прибалтике. Рядом с ней сидел Люсин сын, Сержик, который пришел к тому времени из армии. Сержик крутил транзисторный приемник, из него выплеснулся «Павлиний крик». Артамонова так поразилась и еще что-то так... что не выдержала, поднялась с песка и пошла по пляжу. Потом побежала. Если бы осталась сидеть возле Сержика – взорвалась бы до смерти от распирающего грудь счастья. Надо было растряссти это счастье, не оставлять в себе в таких жизненно опасных количествах. Артамонова бежала, могла

обежать все море, вплоть до Швеции, но все иссякает, и заряд счастья в том числе. Вечером ее бил озноб. Оказывается, счастье тоже выматывает. В эту ночь, перед тем как заснуть, подумала: «Спасибо, Киреев».

Кстати, о Кирееве. Он ушел с третьего курса института и где-то затерялся на жизненных дорогах. Говорили, что играет в ВИА (вокально-инструментальном ансамбле). Но ансамбль зажимали. Тогда всё зажимали. Руководящие товарищи воровали и зажимали, не допускали свободомыслия, чтобы удобнее было воровать. Хочешь свободы мысли – пожалуйста. Но это не оплачивается. Платили только за верную службу.

Артамонова не знала, но могла догадаться: Руфина тяготилась нищетой, а Киреев чувствовал себя виноватым.

В этот же период – с двадцати до тридцати, ближе к тридцати, – Артамонова вышла замуж за Сержика. Это случилось сразу после Прибалтики. Когда Сержик надел ей в загсе кольцо, Артамонова почему-то подумала: «Доигрался». Это относилось не к Сержику, а к Кирееву. И стало чего-то жаль.

Сержик был порядочный и нудный, как все порядочные люди. Зато можно было быть уверенной за свой завтрашний день.

Такой любви, как к Кирееву, не было, но она и не хотела ТАКОЙ. От ТАКОЙ – хорошо умирать, а жить надо в спокойных жизнеспособных температурах.

За прошедшие десять лет Сержик вернулся из армии, окончил Институт иностранных языков, стал синхронным переводчиком. Артамонова была его второй женой. До нее он успел жениться и развестись. Его предыдущая жена в отличие от Артамоновой была хорошенькая, похожая на всех артисток сразу. Но нервная. Когда ей что-то не нравилось в Сержике, она снимала с его лица очки и грохала о землю. Очки разбивались. Это было ужасно. Сержик тут же переставал хоть что-нибудь видеть. Но это не все. Главное то, что хорошие очки не достать, за границей они очень дороги, и Люся выворачивалась, как перчатка, чтобы ее мальчик носил фирменные очки. А она – оземь. Это уже хулиганство.

Сержик был милый, правда, много ел. У Артамоновой исчезла проблема: сказать – не сказать, спросить – не спросить... Она говорила и спрашивала, а чаще вообще не спрашивала, делала все по своему усмотрению. А Сержик только кивал и ел.

Артамонова догадалась. Любовь – власть. Всякая власть парализует. А отсутствие любви – свобода. Как хочешь, так и перемещаешься. Хорошо без любви.

Слуха у Сержика не было. Он синхронил на одной ноте, и это профессионально удобно, потому что переводчик – не артист. Он должен подкладывать текст, а не расцвечивать его интонациями.

Одно только мешало: Сержик в армии сломал передний зуб, а может, ему выбили – в армии и не такое бывает.

Зубы своего рода загородка, скрывающая от глаз то, что происходит на хоздворе. А здесь в загородке дырка и видна работа языка. Человек ест, разговаривает, язык переворачивает пищу, произносит буквы, он беспрестанно занят – мелькает туда-сюда.

Артамонова каждый день говорила Сержику: «Вставь зуб». Он каждый день отвечал: «Ладно».

Через триста шестьдесят дней, после трехсотшестидесятого «ладно», Артамонова сняла с его лица очки и грохнула их оземь. Сержик с ужасом понял, что все женщины одинаковы.

Они разошлись. Как там, в стихах: «Была без радости любовь, разлука будет без печали».

Мама с Люсей тоже поругались. Вот это обидно, по-настоящему. Треснула и распалась большая дружба. В мире стало немножко меньше тепла. Так что и от Сержика произошел ущерб.

Песен при Сержике не писала. И вообще как будто не жила. Когда пыталась вспомнить этот период – нечего было вспомнить.

В тот, киреевский, период – от восемнадцати до двадцати – разговаривала как помешанная. Плакала кровавыми слезами. Переживала сильные чувства. Тогда она жила. А потом была.

Артамонова подозревала, что ее проводка перегорела под высоким напряжением. Она выключена навсегда.

Много работала, уставала и счастья не хотела. Зачем хотеть то, чего нет. А есть покой и воля. Вот этого сколько угодно.

Сорок лет – бабий век.

Но Артамонова, как осеннее яблоко, – только поспела к сорока. В ту пору она оказалась красивее, чем в двадцать. Была – тощая, стала – тонкая. Была – закомплексованная, пугливая, как собачонка на чужом дворе. Стала – спокойная, уверенная в своем ДЕЛЕ, своей незаменимости. Появилось то, что называется «чувство собственного достоинства». Существенная деталь к внешнему облику. В чем-то глубинном она не переменялась, осталась прежней, молодой. Чего-то выжидала. Награды за одиночество. Может быть, она выжидала, что просверкнет Киреев. Но сама инициативы не проявляла. И когда встречала общих знакомых – не спрашивала... Скажут – она услышит.

Ничего определенного, существенного не было известно. Для ВИА Киреев был уже старый, сорок три. Нелепо видеть седеющего дядьку, орущего под гитару. Время сменилось, и эстрадные певцы поменяли манеру. Раньше тряслись и блеяли, а теперь четко выкрикивают каждую букву, как глухонемые, научившиеся говорить. Крутят губами так, что, того и гляди, губы соскочат с лица.

Вчера блеяли, сегодня выговаривают, завтра еще что-нибудь придумают, в яростной попытке обратить на себя внимание, развернуть к себе людей. А «Аве Мария» была, есть



и будет.

Но Киреев... Куда он понес свое бунтарство? Руфина двигалась к пенсионному возрасту. Не родила. Упустила время. Жили в той же двухэтажной среднеисторической постройке, которая охранялась государством, но не ремонтировалась. Второй этаж отдали в аренду кооператорам, надеялись, что предприимчивые парни отреставрируют дом и проведут телефон. Руфина надеялась на кооператоров. На Киреева она уже не надеялась. Такие вот дела.

Мама Оля ушла на пенсию. Всю жизнь неслась на предельной скорости – и вдруг по тормозам. Движение кончилось, и сразу набежали вопросы: КУДА? ЗАЧЕМ? А известно – куда. В старость. Зачем? А ни за чем. Жизнь пожевала-пожевала и выплюнула. Оля привыкла быть необходимой, в этом состояло ее тщеславие и самоутверждение медсестры и матери. Ей нужно было еще одно беззащитное существо.

Артамонова постоянно возвращалась мыслями в ту роковую минуту, когда стояла перед хирургом и спрашивала: «Может, не надо?» Он сказал бы: «Конечно, не надо. Идите домой». И она бы ушла. И сейчас ее сыну было бы восемнадцать лет. Он, возможно, служил бы в армии, а она поехала бы на присягу, заискивала перед гарнизонным начальником и приглашала его на свой концерт.

Нерожденный сын присутствовал в ее жизни, как музыка через стену. Приглушенно, но слышно. И чем дальше продвигалась во времени, тем сильнее скучала. Пусто жить

для себя одной. Хочется переливать в кого-то свои силы.

Артамонова пошла на Птичий рынок и купила попугая. Назвала его Пеструшка. Попугай – не человек. Птица. Но все же это лучше, чем ничего. Вернее, никого.

Во Дворце пионеров подружилась с Вахтангом. Он вел драматический кружок два раза в неделю. Их дни совпадали.

Вахтанг – настоящий артист из настоящего театра, но ему не давали играть то, что он хотел. Например, Вершинина. Режиссер говорил: «Но ведь Вершинин не грузин и не красавец». Режиссер произносил это слово с ударением на «е». Как будто стыдно иметь красивую внешность. А Чехов, между прочим, утверждал: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». А в современной драматургии так: если лицо и одежда в порядке – значит, сомнительный тип. Фарцовщик или сынок. Иначе откуда одежда у советского человека. А уж если душа и мысли на высоте – значит, полуголодный, обтрюханный неудачник. Станный человек, в нестираном свитере и в очочках.

Вахтанг своей не востребуемостью мучился, не видел выхода. С любовью ему тоже не везло. Он был хоть и красавец, но без денег. Без жилья. Артамонова выслушивала жалобы о его невзгодах, подкармливала бутербродами и в результате полюбила за муки. А он ее – за сострадание к ним. Все как у Шекспира.

Они поженились.

Вахтанг перебрался в однокомнатную квартиру. Мама пе-

реместила на кухню. Тесно, конечно. Но для того, чтобы сделать ребенка, много места не надо.

Ребенок тем не менее не получался. Артамонова пошла к врачу. Женщина-врач сказала: «Ребенка не будет, – и спросила: – А в первый раз был аборт?»

Артамонова ответила: «Один».

Врач сказала: «Иногда хватает и одного».

Вот чем кончился для нее визит Киреева. Что он тогда хотел? Кажется, «Детский альбом» Чайковского.

Верблюд стоял на прежнем месте и ухмылялся отвислыми глиняными губами.

Вахтанг раз в месяц звонил своей маме в Кутаиси и, прикрывая рукой трубку, говорил: «Не получилось». Мама была недовольна женитьбой сына. У Артамоновой, с маминой точки зрения, было слишком много НЕ. Не красива, не молода, не девушка. Дети не получаются. Какой в ней смысл вообще?

Все эти НЕ были справедливы. Но Артамонова привыкла к другому восприятию себя. Ей не нравилась интерпретация ее образа, созданная свекровью. Хотелось от свекрови освободиться. Выключить ее из круга общения. Но свекровь шла в комплекте с Вахтангом. Либо обоих принимать, либо обоих выключать. А так, чтобы мамашку задвинуть, как пыльный тапок, а Вахтанга оставить, – было нереально.

Остаться без Вахтанга не хотелось. Он был такой красивый, такой накачанный мышцами, как Медный всадник.

Так хорошо было засыпать и просыпаться под его тяжелой, как плита, рукой.

Ночи были талантливы и разнообразны. А дни – одинаковы и неинтересны. В театр пришел новый режиссер, ставили Астафьева. Режиссер сказал Вахтангу: «Ну какой из тебя русский мужик?» Вахтанг стал подумывать: не переехать ли в Кутаиси, играть грузинскую классику? Но там бы ему непременно сказали: «Вахтанг, какой из тебя грузин? Отец русский, жена русская, учился в Москве». Артамонова понимала: дело не в национальном коде. Дело в том, что Вахтанг полуталантлив. Он небездарен. Все понимает, но не может мощно выразить. Как собака, которая понимает человеческую речь, но сама не разговаривает. Вахтанг не осознавал своей недоталантливости. Очень редкий характер может сказать себе жесткую, жестокую правду, типа: «Я бездарен». Или: «Я – трус». Человеку свойственно чувствовать себя правым. Ибо кто не прав, тот не живет. Вахтанг был набит комплексами, амбициями – всем тем, что заменяет человеку дело. И все свои неудачи перекладывал на людей, на обстоятельства, на всеобщую несправедливость. Артамонова понимала: ему надо менять профессию. Например, на Западе он мог бы быть платным любовником при дорогих отелях. Но разве такое скажешь мужчине?

Детей не получилось, но Вахтанг вполне заменял сына. Ему надо было варить, стирать, утешать, давать карманные деньги. Но все же он не был сыном. И ночь не заменяла день.

День главнее.

У Артамоновой в грудной клетке зрел, взрастал знак вопроса, большое такое недоумение: ЗАЧЕМ?

Кончилось все в один прекрасный день и, как казалось Вахтангу, на пустом месте. Он в очередной раз закрыл рукой трубку и сказал: «Не получилось».

Артамонова забрала у него трубку и что-то такое в нее сказала. Кажется, она сообщила какой-то адрес или направление. Куда-то мама должна была пойти. Мама ничего не поняла, а Вахтанг понял. И поскольку они существовали в комплекте, то Вахтанг вынужден был отправиться вместе с мамой.

Личная жизнь не сложилась. Но зато хор процветал, набирал силы. Съездили в Болгарию, в Китай и в США.

В Софии стены домов были обклеены поминальными листками. На одном из них Артамонова прочитала: «Страшнота тишина».

В Китае обилие велосипедов. А в Америке – вообще все другое, поскольку обратная сторона планеты. И воздух не тот, и хор иначе резонирует. Артамонова почти физически ощущала эту «иначесть».

Работали много, иногда по два концерта в день. В свободное время бродила по магазинам. Для нее Америка – одна большая комиссионка. Не больше. И не меньше.

Вечером вытягивала из хора все, что могла. Ее руки –

как дистанционное управление – могли послать любой заряд и вытянуть из хора всю душу, все дыхание. Аплодировали стоя.

Пятьдесят лет – первый юбилей.

Страна дала орден за вклад в культуру и звание «заслуженный работник». Орден вручали в Кремле.

Перед Артамоновой шел получать награду коротенький старик. Его награждали за вклад в профсоюзное движение и в связи с каким-то «-летием». Скорее всего это был четвертый юбилей. Старик нажал громкую педаль и закричал, забился, как в падучей, благодаря за самый счастливый миг в его жизни, обещал, что он и дальше... все оставшиеся силы... Лысина старика стала розовая, Артамонова заволновалась: профсоюзного деятеля может хватить удар.

Высокий чин, вручающий ордена, вежливо переживал. Он, видимо, привык к таким припадкам. Его глаза были затянуты пленкой, как у спящей птицы. Этой пленкой высокий чин отгораживался от действительности. Невозможно же каждый раз сопереживать чужой радости. Никакого здоровья не хватит.

Старик откричал и без сил вернулся на место. Забросил в рот таблетку валидола.

Следующей была Артамонова.

Вручая орден в красной коробочке, высокий чин посоветовал продолжать в том же духе. И в этом году, как в прошлом. Может быть, он решил, что, получив орден, Артамо-

нова потеряет интерес к делу. Орден – цель. А если цель достигнута – зачем уродоваться дальше.

Артамонова удивилась и переспросила: «Что?»

Высокий чин не понял, к чему относится «что», и они какое-то время смотрели друг на друга с нормальным человеческим выражением. Без пленки. Артамонова увидела, что он простой мужик с хохляцкой хитроваткой в глубине глаз, с розовым лицом хорошо питающегося человека. А он тоже что-то такое увидел и, когда сели фотографироваться, сказал: «Нравишься ты мне», – и положил руку на ее колено.

Фотограф приготовился. Артамонова сняла руку, шепнула: «Компрометирующий документ». Он шепнул в ответ: «Сейчас перестройка. Все можно».

У нее мелькнула идея попросить жилье. Попросить – не попросить... Не решилась. Так и осталась в однокомнатной квартире.

Песни Артамоновой пели в ресторанах и с эстрады. Сберегательная книжка стала походить на колодец в болотистой местности. Только вычерпаешь – опять подтекает. Хорошо. Деньги – это свобода. Свобода от нашей пищевой и легкой промышленности. Можно питаться с базара. Одеваться за границами. Передвигаться на машине. В один прекрасный день пришла к выводу: она находится в браке со своим ДЕЛОМ. И лучшего мужа ей не надо. Дело ее кормит, одевает, развлекает, возит в путешествия, дает друзей, положение в обществе. Какой современный мужчина способен дать

столько?

Артамонова ездила по проезжей части, а по тротуарам колоннами и косяками шли двухсотрублевые мужчины, у которых сто рублей уходит на водку. Шли вялые, бесслухие Сержики, не востребованные Вахтанги, у которых и лицо, и одежда, и мысли – а никому не надо. А она – мимо. Мимо и НАД. Хорошо.

Приезжала Усманова. У нее болен сын, нужна была лучшая клиника. Правильнее сказать – не болел, а родился с дефектом: незаращение жаберных щелей. Мальчик был умный, нормальный, но немножко земноводный. За ушами – свищи. Надо было зашивать. Эти жабры застили Усмановой небо, и землю, и весь белый свет. У нее был затравленный маниакальный взгляд сумасшедшего человека.

В такие минуты Артамонова была рада, что у нее не ребенок, а птица.

Пеструшка рос веселым и смышленным. Он обожал Артамонову, и когда она приходила с работы домой, то пикировал на нее сверху, как камикадзе – японский летчик-смертник. Шел на таран и приземлялся в волосы или на плечо. Он умел говорить несколько бытовых фраз, типа: «Пеструшка хочет пить». Разговаривал утробным роботным голосом, как чревовещатель. Однажды Артамонова решила усложнить задачу: «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы». Фраза была длинной и сложной для птичьего ума. Пеструшка нервничал, злился и, сидя у Артамоновой на плече,



рвал ей волосы. Мама возмущалась и кричала, что Пеструшка сломается, как ЭВМ при перегрузке, что Артамонова сорвет у него психику. Артамонова отступилась. Перестала настаивать на Пушкине. Но однажды вечером Пеструшка явно произнес: «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы».

Всего можно добиться, если захотеть. Артамонова постоянно чего-то добивалась, но не для себя. Для других. Она не умела сказать «нет» и постоянно была обвешана чужими поручениями. Считалось, что статус «заслуженного работника» дает ей дополнительные преимущества. Артамонова пробивала: то телефон, то кладбище, то песню на радио.

Добрые дела имеют особенность: можно десять раз сделать для человека. Один раз не сделаешь – и ты враг. Но у Артамоновой врагов не было. Ее любили. Было за что пожалеть (одинок). Было чем восхититься (добра, талантлива). Сострадание гасило зависть, и Артамонова получала от людей чистое, очищенное чувство, как водка после тройной перегонки. Множественная доброжелательность заменяла ей одну большую любовь. Этим дышала. Артамонова плохо чувствовала себя за границами, потому что в воздухе не было электричества ее друзей. А здесь, в однокомнатной квартире, было все: покой и воля, дела и деньги, друзья и мама. И Пеструшка, в конце концов.

Но однажды случилось несчастье. Во вторник. Она помнит, именно во вторник, вечером. Артамонова вышла

из комнаты в кухню. Пеструшка, как камикадзе, устремился следом. Артамонова не видела и, выходя, закрыла за собой дверь. Пеструшка на полной скорости врезался в дверь маленькой головой.

Его хоронили во дворе поздно вечером, когда никто не мог их увидеть. Положили в коробку из-под туфель и закопали.

Вернулись домой. В квартире стояла «страшната тишина».

Артамонова заплакала по Пеструшке, которого убила. По сыну Киреева, по всей своей незадавшейся жизни. И ей казалось, что из глаз шла кровь.

А мама ходила рядом и говорила:

– Наверное, если бы я умерла, ты бы не так плакала.

Если верить теории относительности, то во второй половине жизни, так же как и во второй половине отпуска, дни проходят скорее.

Раз в неделю Артамонова производила в доме влажную уборку. Каждая пылинка – это секунда, выраженная в материи. Частичка праха. И когда стирала пыль, ей казалось – она стирает собственное время.

Говорят, что песок – развеянный камень. Каждая песчинка – время. Значит, пустыня – это тысячелетия. Чего только не придет в голову, когда голова свободна от нот.

В Москве гастролировал знаменитый органист. Артамоновой досталось место за колонной. Ничего не видно, только

слышно.

Она закрыла глаза. Слушала. Музыка гудела в ней, вытесняя земное. По сути, хор – тот же орган, только из живых голосов. Звуки восходят к куполу и выше, к Богу. Еще немножко, и будет понятно: зачем плачем, стенаем, рожаем полурьб, убиваем детей и птиц. Зачем надеемся так жадно?

Артамонова возвращалась на метро. Шла по эскалатору вниз, задумавшись, и почти не удивилась, когда увидела перед собой Киреева. Лестница несла их вниз до тех пор, пока не выбросила на ровную твердь. Надо было о чем-то говорить.

– Ну-ка покажись! – бодрым голосом проговорила Артамонова.

Киреев испуганно поджал располневший живот. Хотел казаться более бравым.

Он был похож на себя прежнего, но другой. Как старший брат, приехавший из провинции. Родовые черты сохранились, но все же это другой человек, с иным образом жизни.

Артамонова знала: последний год Киреев играл в ресторане и, поговаривали, – ходил по столикам. Вот куда он положил свое бунтарство. На дно рюмки.

Они стояли и смотрели друг на друга.

– Как живешь? – спросила Артамонова.

– Нормально.

Кепка сидела на нем низко, не тормозилась волосами. Жалкая улыбка раздвинула губы, была видна бледная, бес-

кровная линия нижней десны.

«Господи, – ужаснулась Артамонова. – Неужели из-за этого огрызка испорчена жизнь?»

– Тебе куда? – спросил он.

– Направо, – сказала Артамонова.

– А мне налево.

Ну это как обычно. Им всегда было не по дороге.

Артамоновой вдруг захотелось сказать: «А знаешь, у нас мог быть ребенок». Но промолчала. Какой смысл говорить о том, чего нельзя поправить.

Они постояли минутку. На их головы опустилось шестьдесят пылинок.

– Ну пока, – попрощалась Артамонова. Чего стоять, пылиться.

– Пока, – согласился Киреев.

Подошел поезд. Артамонова заторопилась, как будто это был последний поезд в ее жизни.

Киреев остался на платформе. Его толкали, он не замечал. Стоял, провалившись в себя.

Артамонова видела его какое-то время, потом поезд вошел в тоннель. Вагон слегка качало, и в ней качалась пустота.

И вдруг, как озноб, продрала догадка: своими «сказать – не сказать», «спросить – не спросить» она испортила ему жизнь. Родила бы, не советуясь, сыну было бы под тридцать. Они вместе возвращались бы с концерта. Она сказала бы Кирееву: «Познакомься, это твой сын». И Киреев увидел бы се-

бя, молодого и нахального, с прямой спиной, с крепким рукопожатием. Как в зеркало, заглянул бы в керамические глаза, и его жизнь обрела бы смысл и надежду. А так что? Стоит на платформе, как отбракованный помидор. Как тридцать лет назад, когда его не приняли в музыкальное училище. Артамоновой стало горько за его пропавший талант. И так же, как тогда, захотелось поехать в трапезную, вызвать его и сказать: «Ты самый талантливый из всех нас. И еще не все потеряно». Киреев стоял перед глазами в низкой кепочке. Жизнь повозила его, но это он. Те же глаза, как у козла рога, та же манера проваливаться, не пускать в себя. Люди стареют, но не меняются. И она – та же. И так же воеет собака на рельсах. Между ними гора пыли и песка, а ничего не изменилось.

– Следующая станция «Белорусская», – объявил хорошо поставленный женский голос.

Артамонова подняла голову, подумала: «Странно, я ведь села на «Белорусской». Значит, поезд сделал полный круг. Пришел в ту же точку».

Она двигалась по кольцу.

Киреев стоял на прежнем месте. Артамонова увидела его, когда дверцы вагона уже ехали навстречу друг другу. Артамонова не дала дверям себя защемить, выскочила в последнюю секунду. Спросила, подходя:

– Ты что здесь делаешь?

– Тебя жду, – просто сказал Киреев.

– Зачем?

– А я тебя всю жизнь жду.

Артамонова молчала.

– Ты похудела, – заметил он.

– А ты растолстел. Так что общий вес остался тот же самый.

Киреев улыбнулся, показав бледную десну.

# Все нормально, все хорошо

*Фамилия, имя, отчество – Бочаров Алексей Ефимович*

*Год рождения – 1948*

*Место работы – АПН*

*Цель приезда – командировка*

Бочаров заполнил гостиничный листок. Подал его администратору. Администратор взяла листок и паспорт, стала сверять. Бочаров ждал. Вообще-то он был не Ефимович, а Юхимович. Простодушный папаша в свое время решил, что Юхим – слишком мужицкое, неинтеллигентное имя, и записал себя в паспорте Ефим, механически превратив сына в Ефимовича. Абрам, Ефим – имена православные, но бытуют за евреями. Страна, конечно, интернациональная, но зачем брать на себя чужое? Своего хватает. Хотя, если разобраться, все нормально, все хорошо.

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1948. Тут ни убавить, ни прибавить. Война кончилась в сорок пятом. Юхим пришел контуженный, но целый. Думал, что страна поблагодарит. Но ему сказали: «Страна тебе ничего не должна. Ты ей должен все». Юхим всю жизнь выполнял и перевыполнял план на производстве, а не заработал ни машины, ни дачи. Летом загорает на балкончике. Производство выбрало из него здоровье, годы, потом выплюнуло на нищенскую пенсию, не сказа-

ло «спасибо» и не сказало «извини». В выигрыше оказались «локтевики» – те, кто пробивался локтями. Они не ждали, что страна о них позаботится. Они сами заботились о себе. И теперь у них все есть, и детям останется. А у Юхима нет ничего, кроме имени Ефим. Единственное, что он себе урвал и сыну оставил.

**МЕСТО РАБОТЫ:** АПН. Агентство печати «Новости». Журналист-международник, средство массовой информации. Бочаров работает «средством» пятнадцать лет. Из них семь с половиной просидел в далекой Индии, в городе Мадрасе. Когда спрашивали: «Ну как там?» – жена отвечала: «Хорошо топят», – имея в виду пятьдесят градусов в тени.

В Мадрасе Бочаров был завбюро, здесь тоже зав. с зарплатой триста шестьдесят рублей в месяц плюс пятьдесят за язык плюс интервью, публикации – набиралось за пятьсот рублей. Кто еще у нас в стране получает такие деньги? Профессора? Замминистры?

Квартира – вся в японской технике и русском антиквариате. Красное дерево – глубокое, теплое, живое. От него веет временем. Оно как будто рассказывает о прежней жизни, прежних хозяевах – красивых праздных женщинах, благородных мужчинах. Не исключено, что на этом кресле сидел Пушкин, писал хозяйке в альбом стихи. Когда живешь в окружении старины, то потом не можешь находиться в современных стенках из ДСП. Казалось бы, какая разница – что вокруг тебя? Главное – что в тебе. Но то, что во-



круг, незаметно просачивается внутрь. И вдруг замечаешь, что твоя душа заставлена скучными ящиками из прессованных опилок.

**ЦЕЛЬ ПРИЕЗДА: КОМАНДИРОВКА.** Точнее сказать, он приехал в личных целях. Профессор университета Розалия Ефимовна Галесник позвонила ему в Москву и сказала, что хочет отдать свои папки. Боится, умрет – и все пропадет. Назначат, конечно, комиссию по наследию, но тяжело думать, что в ее листках будут копаться чужие равнодушные руки. Алеша Бочаров – любимый ученик. Пусть возьмет ее наследие (часть наследия), разберет, напишет книгу или диссертацию. Самоусовершенствуется и подтянет человечество до своих знаний. Дарит клад любимому ученику. Как не взять? Просто неудобно отказаться.

Розалия Ефимовна, как и он, не была настоящей Ефимовной. Ее отца звали старинным библейским именем Сруль. Стало быть: Розалия Срулевна. Но преподавать с таким отчеством – нереально. Да и жить неудобно. Любой самый серьезный человек не мог сдерживать летучей улыбки. А коллеги на кафедре просто стеснялись. Розалия пошла в милицию переписать паспорт, но начальник паспортного стола отказался от подделки документа. Тогда Розалия собственноручно переправила букву «С» на «Е». К букве «р» приделала колечко с другой стороны. От «у» бритвочкой стерла ногу. И так далее до конца. Получилось «Ефимовна». Так что Бочаров и профессор Галесник пришли к одному и тому же

отчеству с разных концов. Он – от православного Юхима. Она – от иудея Сруля.

Однако главное в Розалии – не то, как звали ее папу, а маниакальная тяга к Индии. Она утверждала, что жила там при первом рождении и хочет после смерти снова там родиться. А кто знает, может, она действительно там жила.

Администратор положила перед Бочаровым тяжелый ключ. Сказала:

– Седьмой этаж.

Бочаров протянул руку. Рука была в коротких волосах. Волоски вытекали из-под манжеты рубашки – на руку и даже на пальцы до сустава. Администратор домыслила себе остальное тело, поросшее волосами, как у первобытного человека. Она посмотрела ему в лицо. Наметанным глазом отметила белый крахмальный воротник, подпирающий холечные щеки. Подумала: беловоротничковый. Она без ошибки умела отличать хозяев жизни от жертв, наших от иностранцев. Все это отражается на лице, хоть и считается, что на лбу ничего не написано. Но на лбу, особенно в глазах, написано все. Наши люди, замученные социализмом, были видны прямо от дверей виноватым выражением лица.

Беловоротничковый взял ключ и отошел. Администратор проводила его глазами. Потом взяла следующий листок, протянутый следующей волосатой рукой.

«Фархад Бадалбейли Шамси-оглы», – прочитала она. Подумала: «Не имя, а песня с припевом».

Бочаров повернул ключ, вошел в номер. Номер как номер. Временное жилище. Здесь жили до тебя, теперь ты. Завтра уедешь – придет горничная, поменяет постель, проветрит, чтобы духу твоего не было. Заселится следующий. И с ним так же. Все это напоминает о бренности существования. Пришли. Пожили. Потом время сдуло. Следующий...

Недавно Бочаров посмотрел по телевидению похороны Ленина. Многие мысли поднимались в нем и многие чувства. Но одно потрясло. Все это море людей больше не живет. Это поколение ушло. Они жили, любили, страдали и умерли; в основном страдали.

Бочаров подошел к окну. Отодвинул занавеску. Гостиница стояла на площади, как на полуострове. Носовая часть гостиницы врезалась глубоко в площадь, а конец уходил в город, к домам.

Дома в этом районе старые, антикварные. Петербург. Они вполне зашарпаны, но если отреставрировать – заговорят.

Бочаров любил Ленинград. Он здесь родился, учился в университете на факультете востоковедения. Потом женился на москвичке, эмигрировал в Москву. Ленинград постепенно из «колыбели революции» превращался в оплот реакции. Тогда многие сбегали в Москву, подальше от нового Романова. Тот – Николай Второй – был царь. А этот – царек. Слова похожи, однако разные. Бочаров уехал из Ленинграда, но скучал. Черемушки, с одинаковыми белыми геометриче-

скими коробками, напоминали галлюцинации сумасшедшего. Одинаковость угнетала, обезличивала, лишала уникальности. Ты – как все. Инкубаторский. А он – не как все. Он – это он.

Бочаров подошел к телефону. Набрал номер Розалии Ефимовны. В трубке сказали:

– Сейчас...

«Чей это голос?» – не понял Бочаров. Должно быть, соседки. Соседи несколько раз менялись за те восемьдесят девять лет, которые Розалия жила в этой квартире. Вот еще одна, из породы Юхима. Профессор с мировым именем, она знает об Индии больше, чем сами индийцы. Сделала советско-индийскую дружбу действительно дружбой, а не мероприятием. На Западе у нее были бы вилла с бассейном, свой самолет и яхта. Здесь – сидит в коммуналке, без лифта. Не может выйти на свежий воздух. Сидит – ровесница века, старая, как век.

Бочаров услышал ее голос – низкий, прокуренный. Старушка в свое время курила и даже, кажется, пила. Муж ушел от нее еще до войны. Не выдержал соперничества с Индией. Розалия говорила мужу: «Самое неинтересное в моей жизни – это ты».

Бочаров сказал, что приехал «Стрелой» и через час будет у нее.

– Ты звони, голубчик, четыре звонка. И если долго никого нет, не уходи. Это значит, я иду.

– А соседи не могут открыть? – спросил Бочаров.

– Соседи в это время на работе, – объяснила Розалия Ефимовна. – Ну а у тебя как?

– Все нормально, все хорошо, – сказал Бочаров.

– А мама как?

Бочаров замолчал, как провалился. Потом сказал:

– Мама умерла двадцать пять лет назад. Вы же были на похоронах.

– Да? – удивилась Розалия Ефимовна. – Да, да, помню... – подтвердила она.

«Плывет...» – подумал Бочаров.

– Ты приезжай, голубчик, непременно. Я приготовила тебе четыре папки по пятьсот страниц в каждой. Разберешь. Еще четыре папки я отдам своей дочке Рашмине.

«Какая дочка? – удивился Бочаров. – У нее нет детей». Потом вспомнил: она собирает вокруг себя индийских студентов, которые учатся в Ленинграде, и называет их детьми. Они ей помогают и возле нее греются. Индийцам в Ленинграде знобко и холодно после своих пятидесяти градусов в тени.

– А Попов в моей папке? – спросил Бочаров.

– В твоей, в твоей, папка номер два.

Какие-то вещи, для нее необязательные – например, жива или нет его мама, – Розалия Ефимовна путала, забывала. Но все, что касалось профессии, – помнила до мелочей.

– Не завтракайте, – предупредила Розалия Ефимовна. –

Я вас накормлю.

Она любила своих студентов – прошлых и настоящих. За-  
ряжалась от добра. Студенты отвечали ей тем же. Так отве-  
чает земля на благодатный дождь. Ее польешь – она плодо-  
носит.

Бочаров шел по городу. Синее небо. Яркий снег. Он лю-  
бил свой Питер и под бархатным дождем, и в белые ночи.  
Любил, потому что привык. Это дано ему было возлюбить  
с детства.

Вот дом, где в молодые годы жила Крупская. К ней при-  
ходил Володя Ульянов, взбегал по ступенькам. Она ему от-  
крывала дверь. Как давно это было. А вообще – не так уж  
давно. Бочаров родился при жизни Сталина. 1948 год. Ста-  
лин – соратник Ленина. Ленин родился при жизни Досто-  
евского. Достоевский застал Пушкина. Если взяться за ру-  
ки, то можно дотянуться до Пушкина. Все рядом. А генерал  
Попов – совсем близко. История генерала Попова во второй  
папке у Розалии Ефимовны.

Хорошо было идти по Невскому проспекту и думать о По-  
пове.

Сорокалетний, как и Бочаров, помещик – красавец, вдо-  
вец или холостяк (это надо уточнить, а впрочем, какая разни-  
ца – нет, все-таки разница) – встречает в Петербурге благо-  
родную девицу, она только что окончила Бестужевские кур-  
сы, – красавица, умница, увлечена химией. Попов видит ее  
и с первого взгляда понимает, что его долгий поиск счастья

блестяще завершен. Он женится и в качестве свадебного подарка дарит ей лабораторию. Юная жена с утра до вечера в лаборатории – опыты, эксперименты, чем там занимаются химики, что они льют в свои колбы, реторты, какие получают соединения. Кончилось все тем, что она погибла в своей лаборатории: не то взорвалась, не то сгорела, а может, то и другое. Вчера была – сегодня нет. Попов не мог смириться с этим фактом – вчера была, сегодня нет. Он слегка сошел с ума. Мозг отказывался принимать жестокую данность. Попов уехал к себе в имение – где-то в Черновцах – и на берегу реки построил мраморный корабль. Пока возводился мемориал – Попов этим жил: хлопотал, нанимал людей, сам трудился до изнеможения. Труд и идея отвлекали его от бессмысленности жизни. Корабль готов. Надо что-то делать дальше. Попов прорыл от своего дома до корабля подземный тоннель. Рыл один – с утра до вечера. По тоннелю приходил на корабль и тосковал. Пожалуй, он не сбрендил. Он любил, как сейчас говорят, по-настоящему. Многие считают: сегодня, в конце двадцатого века, нет ТАКОЙ любви. Бочаров думал иначе. Любовь во все времена одна. Люди – разные. Сейчас нет ТАКИХ людей. Итак, Попов потерял смысл жизни и мучительно искал этот смысл. Он узнал, что в Индии проживает некий мудрец, то ли святой – Вивекананда, – и поехал прямо к нему за тридевять земель. Другое было время: затосковал – строй корабль или поезжай на другой конец света. Ищи выход.

Вивекананда – выход. Его мировоззрение легло на душу Попова как озарение, как благодать. Примирило его с собой, с миром. Попов вдруг осознал, что мир – родной дом. Страны – комнаты, люди – родственники: сестры, братья, дети. Можно спокойно ходить по комнатам, видеть родные лица. Ты не одинок.

Попов вернулся в Петербург. Ему было мучительно жаль людей, которые не знают Вивекананды. Он стал переводить его на русский язык. Кое в чем Вивекананда пересекался с Толстым. Было много общего в мировоззрении этих двух великих старцев.

Революция Попова не тронула, он никому не мешал – седебородый кроткий старик, должно быть, казался тихо помешанным. Но он был нормальный человек. Просто очень много знал и, как Бог, смотрел сверху на человеческую мельтешню. Смотрел не равнодушно и не безразлично, а с пристрастием. Хотел завещать, как детям, все, что знал и накопил. Его не слушали. Не до него.

Умер Попов своей смертью. Похоронили его возле корабля. Этот корабль и по сей день стоит на берегу маленькой речки. И могила там. Надо выяснить: где именно? Обязательно съездить.

Красивая история. Красивая жизнь. Бочарову стало чего-то жаль: может быть, юную жену Попова, погибшую в начале своего цветения, а может, себя. Мог бы он вот так, как Попов? Женился бы через год. А в Индию поехал бы за-



ведущим пресс-центром на место Фролкина. И новую жену взял бы с собой. Она бы доллары копила. Доллар – твердая валюта. Хорошо было Попову выражать сильные чувства, когда у него имение, дворянство, наследство. На него работало не менее трех предыдущих поколений: прадед, дед, отец. А он, Бочаров, – сын Юхима. Что он мог унаследовать от отца? Страх. Перед войной Юхим боялся, что посадят. Во время войны – что убьют. После войны – опять посадят. Мало ли что придет в голову сумасшедшему вождю народов? Остался жить только потому, что был маленький незаметный человек. Обычная человеческая щепка. Но тогда и щепки летели во все стороны, поскольку – как всем известно – рубили лес для строительства коммунизма.

Бочаров в сравнении с генералом Поповым – нищ и наг. Но не в этом, не в этом дело...

Дверь открыли сразу. На пороге стояла молодая индианка в шерстяной советской кофте поверх сари. Сари и кофта сочетались странно. И именно по кофте было очевидно, как им тут неприкаянно и холодно. Она улыбнулась Бочарову застенчиво и открыто одновременно.

Розалия сидела за столом, как стог сена. Потянулась к Бочарову двумя руками, как маленькая. Старики зависимы, как дети.

Бочаров поцеловал ее в мягкую щеку. Сел к столу. Привыкал к Розалии. Она всегда казалась ему запредельно старой: и двадцать лет назад, и теперь. Кожа на лице и на руках

в мелкой ряби, как будто ветер прошел по воде. Но в чем-то оставалась неизменной. Это неизменное смотрело со дна веселых глаз. Розалия с юмором стала рассказывать о своих болезнях, о том, как каждый день, садясь за стол, она торгуется со своими почками. «Я съем кусочек селедочки, то, что я люблю. А потом то, что любите вы: творожок и кашку». Почки не соглашались, но Розалия делала по-своему. Она всегда жила, как хотела.

На столе стояла еда, помещенная в розетки для варенья. Порции – кукольные. Бочаров боялся есть. Он только посмотрел: в одной розетке лежало что-то малиновое – свекла. В другой – темно-зеленое: морская капуста. Свеклу Розалия поставила для почек. А капусту для себя. Вокруг по стенам – стеллажи с книгами и папками. Материалы об индийско-русских отношениях начиная с четырнадцатого века. Это бесценно, как, скажем, произведение искусства. Но Розалия раздает, пристраивает свои папки, как детей, чтобы не сдавать в детский дом. А в сущности, это и есть ее духовные дети, их надо пристроить, чтобы потом спокойно умереть. К фактору смерти Розалия относилась как к пересадочной станции. Доехала. Пересела. И дальше. До следующей станции. Путь бесконечен.

Освободиться от страха смерти – все равно что сбросить мучительно тесную обувь. Как легко тогда идти.

– Кто это у тебя на галстук, раки? – спросила Розалия.

– Кони, – ответил Бочаров.

На синем шелке галстука – красные полосочки в сантиметр. Вглядишься – это не полосочки, а бегущие кони. Как только Розалия заметила?

– Ты купил его в Дели, – опознала Розалия. – Я дружила в Дели с одним врачом. У него такой же галстук, только на нем маленькие рачки. На белом фоне черные рачки. Он его никогда не снимал.

– Почему? – удивилась Рашмина, и русское «почему» так же странно не совпадало с ее смуглым личиком и красным кружком на лбу.

– Он обнаружил у себя рак желудка и сам себе сделал операцию. Никому не доверял. Сам вырезал, ассистенты зашили. Он поехал домой.

– А это возможно? – не поверил Бочаров.

– В Бомбее изобрели обезболивающее средство, которое воздействует на болевой центр, а остальной мозг работает нормально. Не то что наш наркоз. Глушит наповал.

– А почему у нас его нет? – спросил Бочаров.

– У нас много чего нет.

– А как он теперь? – спросила Рашмина.

– Наркоз или врач? – уточнила Розалия.

– Врач.

– Здоров. Никаких рецидивов. Только вот галстук. Все-таки сбрендил слегка.

Бочаров всматривался в Розалию, сильно подозревал: она тоже сбредила слегка. История с врачом была вроде ре-

альна, такое могло произойти, но где-то размывалась грань реальности, и все плыло, как мираж. Врач, сам взрезавший себя и копающийся в своих внутренностях... Молодая индианка в виганевой кофте с чисто русским языком, полумистическая вечная Розалия. Еще немножко – и Бочаров перестанет понимать, где он: в Ленинграде, в Москве или в Индии. А может быть, он качается в «Стреле» и ему снится сон.

Розалия переключилась на Попова, как будто была с ним знакома, а может, и была. Рашмина принесла четыре папки, положенные в зеленый целлофановый пакет с надписью «Станкоимпорт».

Розалия говорила о том, что из этой истории можно сделать советско-индийское кино, поскольку индийцы обожают кино. Тогда жизнь Попова разольется широко, но мелко. Кинематограф действует вширь. Вглубь действует проза. Если копать глубже, то надо писать документальную прозу. Для русских лучше проза. Для индийцев – кино, потому что они сентиментальны, предпочитают чистое чувство.

Бочаров слушал и осознавал: Розалия может говорить только об Индии и о том, что с ней связано. Человек одной идеи. Ровесница века. Родилась в 1900 году. При ее жизни случились события: Революция, НЭП, Тридцать седьмой год, Война, Победа, Застой и Оттепель. Розалия все это знала, но события текли мимо нее, как пейзаж за окном поезда. Она была совершенно аполитична. И если бы однажды выглянула в окно и увидела, что за окном фашизм, – оказыва-

ется, мы проиграли войну с Гитлером, – то всплеснула руками и воскликнула бы: «Ах...» Не более того.

И вместе с тем Бочаров понимал: чтобы делать в жизни что-то по-настоящему, надо делать только одно. Рафаэль расписывал купола и по два года не сходил вниз. Жил на лесах. Ему туда приносили еду. Туда залезали женщины. Когда он спускался вниз, то разрезал сапоги, иначе было не снять. После этого остаются купола. После Розалии – папки. Даже если их раздать, они все равно есть. А что останется после него?

– А там еще стоят камни? – спросила Розалия.

– Где там?

– Под Мадрасом. На берегу.

– Стоят, – сказал Бочаров, хотя ничего не понял.

– А мама твоя как?

– Спасибо.

Было душно. Хотелось есть. Розалия оживлялась на глазах, а Бочаров опадал, как резиновая надувная игрушка. Ему казалось, что Розалия при большой массе имеет очень слабый заряд и как бы подпитывается Бочаровым. Она подсоединилась к нему и тихо качает энергию.

«Сейчас, – сказал он себе. – Договорит, и я уйду». Розалия снова метнулась к Попову, к жанру документальной прозы, стала перечислять документы, имеющиеся в папке, фотографии, чертеж корабля, подлинник перевода Вивекананды.

«Сейчас...» – говорил себе Бочаров и оставался сидеть,

как под гипнозом. Наконец он оторвал себя от стула. Почти выдавил себя из квартиры. Но и в последнюю секунду надо было что-то говорить и обещать.

Наконец он ушел, держа в руке пакет с папками. Остановился на берегу Фонтанки. Долго дышал. Силы медленно возвращались. Казалось, он приходил в себя после обморока.

Официантка взяла заказ.

Бочаров установил закономерность: молоденькие официантки высокомерны, словно за их молодость надо доплачивать. А возрастные официантки – душевны. Как бы извинялись за жизненный стаж. Бочарову попалась высокомерная. Записала заказ, будто сделала большое одолжение.

Бочаров вздохнул. В Мадрасе он был белый сахиб – белый господин. Короля играет окружение. Окружение Бочарова, а именно: шофер Атам, повар, нянька, – постоянно напоминало, что он белый господин. Сначала Бочаров смущался, потом привык. К хорошему быстро привыкаешь. Он вдруг вспомнил про камни на берегу Индийского океана. Розалия не сбрендила. Камни действительно стояли. Под Мадрасом, где они купались, в океане было место с глубокой воронкой. Поговаривали, в ней жила акула. Против этого места поставили камни, чтобы люди не купались. Какая теплая, тугая вода в океане.

Хорошо было тогда в Мадрасе. Особенно если смотреть

из сегодня. Бочаров был молод, и жена молода. Они и сейчас в расцвете, но это уже вторая молодость. А тогда была первая. За сыном ходила тихая бенгалка. Она никогда не делала ребенку замечаний. Просто ходила, и все. И сын вырос спокойный, не дерганый. Потому что его не дергали воспитанием, а просто любили. Бочаров был убежден: в начале жизни человек должен познать нерассуждающую всеобъемлющую любовь. И тогда он вырастет счастливым.

Бочаров вспомнил дом на земле – особняк, двор с подстриженной травкой. Машина «вольво» с затемненными стеклами, шофер по имени Атам. Атам – шестипалый. От корня большого пальца отходил еще один маленький недоразвитый пальчик с ноготком. Атам им не пользовался, но избавляться не хотел. Бог дал – значит, так тому и быть. Бог же лучше знает, что он делает. Однако никто не помнил, какое у Атама лицо и голос. Все смотрели только на его руку, на шестой палец. Люди по Божьему замыслу тождественны, и всякий отход от нормы – уродство или талант – поражает.

Уродство заметно. Но как выразить талант, если он спрятан, как Кощеева смерть.

После Индии Москва казалась холодной, пасмурной. Яблоки, купленные в овощных магазинах, даже отдаленно не пахли яблоками. Были безвкусны, с каким-то лекарственным привкусом, как пенициллин. Солнышко ушло за серые тучи, а из серых туч сыпанул дождь со снегом. И отношения с женой испортились, стали как магазинные яблоки.

Красивая певица взяла микрофон и запела песню из репертуара Пугачевой. Она была гораздо красивее Пугачевой и пела ненамного хуже, а вот поди ж ты... Пугачева известна на всю страну, а девушка поет в ресторане. Наверняка Пугачева устала от славы, а эта девушка жаждет ее превыше всего. Бочаров подумал, что такая же расстановка сил у него и Фролкина. Фролкин – во главе фирмы. Ему давно все надоело. Он как старый перекормленный кот, который не ловит мышей. Лень двигаться. А Бочарову сорок пять – золотое сечение, когда форма и содержание на какое-то время встречаются. В молодости отстают содержание. В старости с содержанием все в порядке, но форма... А здесь одно и другое слиты воедино. Бочаров – как конь, в котором играет каждый мускул, а его держат в стойле. Стойло, правда, комфортное. Но в хлеву.

Официантка принесла салат оливье. Бочаров подозрительно посмотрел на горку, залитую майонезом. Не ясно – что ешь и чем это для тебя кончится. Он не доверял нашему общественному питанию. Плохое мясо долго вымачивают в уксусе. Жевать вроде не сложно, но на вкус напоминает прессованные опилки.

Бочаров вспомнил, как его повар готовил курицу. Белое мясо клал на кусок поджаренной корейки. Постное куриное мясо прослаивалось жирком и копченым духом. Бочаров ел одно, а вспоминал о другом. «Так глядят, глядя в потолок, чужих и нелюбимых».



Люди танцевали в центре зала. Веселились простодушно. Бочаров любил смотреть на чужое веселье. Ему становилось чего-то жаль. Может быть, их, которые в своей жизни слаще моркови ничего не ели. Может, себя, оставшегося в четырнадцать лет сиротой. Может, их и себя – вместе, потому что чувствовал свою с ними неразрывную связь. Когда долго живешь за границей, да еще в другой культуре – чувствуешь эту самую неразрывную связь. И никакая курица на тундре этого не заменит.

Выходит, человек – не птица. Где тепло, туда и летит. Человек – дерево. Где посадили, там ему и быть, там его корни и крона. А когда корни в одном месте, а крона в другом...

Певица окончила песню, переглянулась с пианистом. Тот закрыл крышку. Перегляднуться – сколько это занимает времени: секунду, две? Но за эти две секунды Бочаров понял: любовь. Скрестились в пространстве два луча энергии. Пианист, конечно, пожиже, невзрачный мужичок, зато лидер. Не то что Бочаров – застоявшийся конь. Чему он завидовал в жизни по-настоящему – это красивой семье, где все в одном мешке: секс, дом, дело, дети, спорт, деньги, нежность, общая могила...

Певица темпераментно закричала новую песню. Пианист наотмашь лупил клавиатуру.

Они показались Бочарову навязчивыми. Он расплатился, пошел из ресторана.

Женщина-администратор странно глянула на него из сво-

его вагончика. Бочаров замедлил шаг. Но генерал Попов незримо глянул на него, как бы наблюдая поведение своего биографа. Бочаров смутился и пошел пешком по лестнице. В сравнении с Поповым он нищ и наг, но не в этом, не в этом дело. Попов служил Богу, Царю и Отечеству. А кому служил Бочаров прошедшие двадцать лет? Брежневу и его тринадцати апостолам.

Бочаров дошел до своего номера. Настроение почему-то испортилось: то ли из-за несвежего майонеза, шипящего уксусом, то ли из-за певички – черт его знает. Но Бочаров был не из тех, кто попадал под настроение. Он умел им управлять. Первым делом – душ. Вторым делом – сон. Бочаров влез в ванну. Потом переоделся в пижаму. Подошел к окну, задернул штору, чтобы солнце утром не расстреляло в упор его сон. И вдруг на подоконнике увидел божью коровку – настоящую, оранжевую, с черными точечками. Как она здесь оказалась? Видимо, упустила время зимней спячки и теперь у нее бессонница...

Бочаров посадил божью коровку на руку. Она стала пробираться по его волосатой руке и, вероятно, думала, что ползет среди травы. «Бедная... – испугался Бочаров. – Как же она проживет?»

Он снова оделся, вышел в коридор. За столиком против лифта сидела пожилая коридорная. Возле окна был расстелен диван, коридорная приготовилась ко сну, хотя спать им не положено.

Бочаров подошел, стараясь ступать неслышно, будто боялся спугнуть ее предстоящий нелегальный сон.

– Извините, пожалуйста, вы не знаете, чем питаются божьи коровки? – виновато спросил он. И добавил: – Такие жучки. В лесу живут.

– Это их птицы едят. А они... зелень, наверное. Траву. Что же еще?

– Спасибо, – поблагодарил Бочаров.

– Вы разгадываете кроссворд? – спросила коридорная.

– Да. Спасибо.

Бочаров увидел в конце коридора фикус, и у него созрел план.

Он вернулся в номер, достал из несессера маленькие ножницы. Пробрался к фикусу и настриг от его жесткого листа зеленую лапшу. Сжимая зелень в кулаке, а кулак пряча в кармане, он вернулся в номер. Божья коровка сидела на прежнем месте и доверчиво ждала.

– Сейчас, – сказал он коровке. – Сейчас, моя хорошая...

Бочаров достал спичечный коробок. Вытряхнул спички, выстелил дно зеленью и сверху посадил божью коровку. Задвинул крышкой. Потом продырявил в крышке три дырочки и положил коробок под зажженную настольную лампу. Теперь в ее домике был воздух и свет. Божья коровка могла вполне вообразить, что она в траве под солнышком.

Устроив божью коровку, Бочаров лег спать. Совесть его была спокойна, перспективы определены. Но сон не шел. Бо-

жья коровка пустила его мысли совершенно по другим виткам. И в обратном направлении. Неожиданно вспомнилась молодость, стажировка в Дели после университета. Обезьяны, живущие на воле у стен мертвого города. У русских «давно» – это восемнадцатый век. А у индийцев «давно» – это второй век. Да и то не очень давно: у них все связано – второй век, двадцатый, тридцатый. Как вчера, сегодня, завтра... Но не в этом дело. Однажды выстроили город, вырыли колодцы. И вдруг ушла вода. Видимо, подземная река изменила свое русло. Без воды нельзя жить. Люди бросили город и ушли. Жилища со временем разрушились, превратились в груды камней, потом и камни выветрились, остались квадраты фундаментов. Стена – как стояла, так и стоит.

Перед стеной пасутся мартышки с подвижными человеческими личиками, просят у людей еду. Одни просят, а другие требуют, хватают за одежду, агрессивно скалясь. Однажды Бочаров видел задумчивую мартышку. Она кого-то поджидала у самой дороги, вглядываясь напряженно, и при этом чистила банан. Ее узенькое, низколобое, глазастое личико отражало проблему выбора: ждать или уходить. Бочаров не верил прежде в дарвиновскую теорию о происхождении человека. Ему казалось, что обезьяны – это другая ветвь эволюции, не имеющая к человеку никакого отношения. А сейчас усомнился. Дарвин, пожалуй, прав. Но при чем тут Дарвин, мартышка, мертвый город?..

В городе исчезла вода, и люди ушли. Без воды нельзя

жить. А еще нельзя жить без правды. Правда – это тоже вода. А в жизни Бочарова правды нет. Значит, он живет в мертвом городе.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.